

Елена Галинская

«Жить, как бог в Одессе»

Все та же Одесса – легкая и изящная, захватывающая и околдовывающая.

Н. Горен

О художнике Ефиме Ладыженском я узнала в начале 2000-х годов, когда в Тель-Авиве в Музее диаспоры шла подготовка к выставке «Homage to Odessa» («Дань уважения Одессе»), к которой я имела непосредственное отношение. С тех пор мне хотелось рассказать о нем и, прежде всего, о его одесских картинах. И сейчас, когда коварный вирус загнал всех по домам, это время пришло. Прошу рассматривать этот очерк как мой посильный вклад в положительный баланс настроения одесситов.

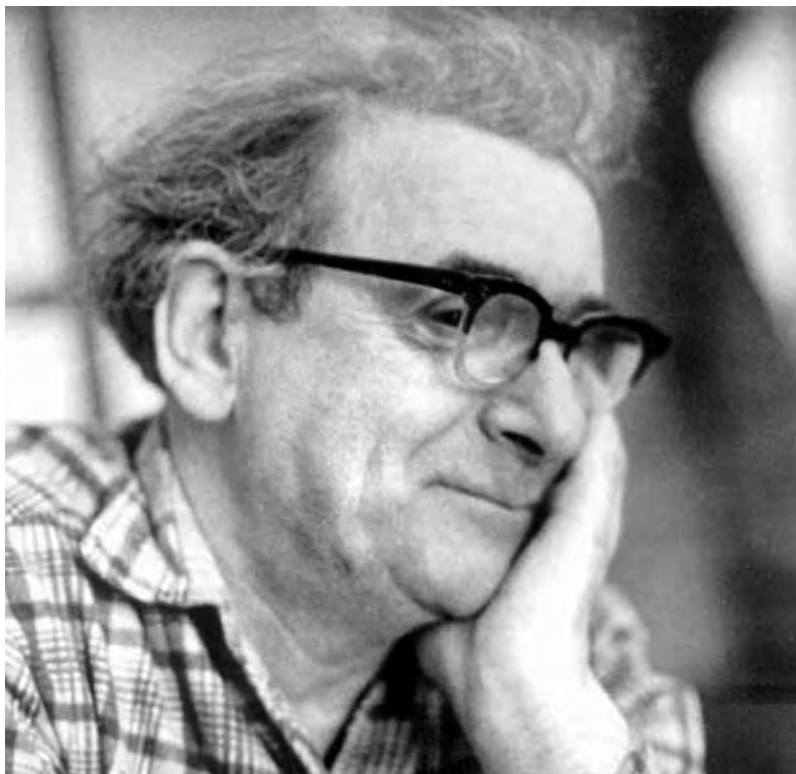
Ефим Ладыженский родился в Одессе на улице Базарной, 100, в 1911 году, рисованию учился в студии знаменитого Юлия Бершадского и в Одесском художественном институте. В 20 лет художник покинул Одессу и, посвятив себя творчеству, стал востребованным живописцем и театральным художником. Основу его наследия составляют несколько художественных циклов: «Бабель – «Конармия», «Одесса моей юности», «Мама», «Корни», «Каркасы», «Люблинское кладбище в Москве», «Вечный жид», «Свет и тени», «Автопортреты». Последние, написанные в 70-е годы, полны щемящих сюрреалистических сопоставлений и трагического восприятия жизни. Е. Л., по воспоминаниям друзей и коллег, ни разу не прогнулся под властью и непреклонно придерживался своих жизненных принципов. Он был энергичной, горячей, неугомонной натурой с тонкой, своенравной и романтической душой, что так типично для одессита. Он был художник

одного ряда с такими, как Шагал, Тышлер, Альтман, однако большинство его работ лежало без движения в мастерской. К 1978 году, осознав, что в СССР его возможности исчерпаны, Е. Л. принял решение переехать в Израиль. Из-за невозможности вывезти из СССР большинство своих произведений, художник собственноручно уничтожил около двух тысячи работ! Это был первый акт трагедии, после которого трудно было восстановиться, и художник стал сползать в депрессию.

Израиль оказался не похожим на нарисованную воображением Ефима Бенционовича страну, Ладыженский переживал глубокое разочарование. И хотя сразу после его приезда одна за другой прошли три его персональные выставки, имевшие большой успех, и готовилась к открытию четвертая, 4 апреля 1982 года последовал второй акт трагедии: художник покончил жизнь самоубийством, повесившись на стене супермаркета в центре Иерусалима.

В мемуарах Е. Л. писал: «Мною созданные произведения – плод выстраданной жизни и упорного труда. Они дождутся своего вечного зрителя, во что я глубоко верю своим изломленным и израненным сердцем». На сегодняшний день более тысячи картин и рисунков рассыпаны по музеям и частным собраниям в России, Израиле, Англии, США, Канаде, Швейцарии, большая часть находится у дочери художника, ставшей хранителем и пропагандистом искусства своего отца.

Серия «Город моего детства» стала центральной в творчестве Е.Б. Ладыженского. Работая над ней с 1968 г. и до конца жизни, художник создал, согласно его собственноручной описи, 190 холстов! Все они сюжетно обращены в прошлое и изображают Одессу 20-30-х годов, увиденную глазами мальчика и юноши, но через восприятие уже взрослого человека. Прошедшее время окрасило эти живописные воспоминания смелыми и яркими красками, свойственными юности, но в это же время наложило на них ностальгическую грусть, свойственную зрелости. На склоне лет, в последние жесточайшие для художника годы работа над одесскими картинами поддерживала его и на время рассеивала мрак, окутывавший его душу. Уже в Израиле Е. Л. стал писать к своим картинам комментарии, ставшие прекрасными литературными



Ефим Ладыженский

очерками, вполне органичными для одесской словесности, именуемой южнорусской школой.

Полотна размером 90×100, как распахнутые окна, за которыми разворачиваются мизансцены одесской довоенной жизни: крикливые рынки, шумные улицы, дворы, парки, нарядные кафе, а в них многоголосый поток последних из могикан – поденщиков, торговцев, ремесленников, жуликов, адвокатов, артистов, авантюристов, раввинов, дельцов, бандитов, любителей искусства – пульсирующие живописные образы одесситов, обладающих яркой характерностью, специфическим поведением и манерой

речи, напористостью и высокомерием, изяществом, благородством, веселостью в сочетании с особого рода иронией и тонким сарказмом. Мозаика быта и бытия Одессы и одесситов открывает «частную жизнь» любимого города.

«Это чарующий город, веселый город, преступный город... Здесь, вне всякого сомнения, уважают правду; но и вранье не считается за большой грех... Каждое незначительное заявление превращается в знаменательное событие, массы возбуждены, руки взмываются вверх, стены и кофейные столики содрогаются от волнующих криков».

В. Жаботинский

С конца XIX века Одесса буквально бурлила культурной жизнью и экономической инициативой. Открытость миру, космополитизм и толерантность многонационального и многоконфессионального города, интеллект старейшего в стране университетского центра, а также климат и природа сделали Одессу очень притягательным местом. Здесь проживала вторая по величине в Российской империи еврейская община, образовался очаг сионистской активности и центр современной еврейской литературы. В местечках черты оседлости об Одессе говорили как о месте, где богатство само идет в руки и где хорошо живется. Тогда-то и возникла пословица «жить, как бог в Одессе». Появление нового типа евреев, желающих жить по-западному, вызывало недовольство национальных ортодоксов, придумавших другую пословицу, «на семь миль вокруг Одессы пылает адский огонь», и называвших ее «городом грешников». Еврейская тема, представленная в цикле Ладыженского, напоминает об одной из ярких страниц истории города. То было баснословное время!

«Одесса несет на себе отпечаток большого мира... В Одессе вы учитесь жить и приобретаете хороший вкус, превращаетесь в знатока достопримечательностей и развлечений, становитесь человеком нового мира, слушающим музыку и смотрящим новые постановки в кабаре и театрах...»

Э. Штейнман

Ну а потом «произошло то, что случилось»: большевистская революция положила конец процветанию Одессы, но еще раньше

Одесса стала терять свое значение центра международной торговли, тогда же начался закат еврейской общины (это время блестяще описано в романе В. Жаботинского «Пятеро»). Однако миф об удивительном городе продолжал разноситься по миру...

«В жизни я не видел такого ветреного города... Ни одно место на земле не может сравниться с Одессой, с ее мягкой веселостью и легким опьянением, наполняющим воздух... Самым источником этой беспечной легкости была свобода от какого-либо славного прошлого...»

В. Жаботинский

Вернемся, однако, к нашему художнику. Одессу он писал вдохновенно и, по свидетельству друзей, буквально захлебывался от воспоминаний. Ах, каким восхитительным портретистом он оказался – умным, тонким, ироничным! Ах, какой город предстает на его картинах – яркий, праздничный, насквозь пронизанный витальной энергетикой, а какой он светлый и многоцветный! Картины еще раз доказывают, что где бы ни жили одесситы, они навсегда в сладкой зависимости от своего феноменального города.

«Одесса, Одесса, я умираю по тебе!»

Шолом-Алейхем

Многие картины имеют ценность документальных воспоминаний – на них можно прочесть имена одесских лавочников и мастеровых, маршруты трамваев, афиши, вывески магазинов, названия пароходов... Воспоминания – всегда несравненная ценность, а если они еще и талантливы, то ценность их удваивается. Е.Б. Ладыженский – истинный поэт родного города, и, глядя на волнующие сцены на его холстах, каждому одесситу есть что вспомнить!

«Одесса в теплые ясные осенние дни кажется земным раем... На каждом углу изобилие цветов, корзины с фруктами и прочими деликатесами... все это превращает Одессу в прекрасную драгоценность, полную утонченного вкуса и радующую глаз...»

Э. Штейнман

Легендарные одесские трактиры, кафе – Фанкони, Робина, Печеского, рестораны в Пале-Рояле, на бульваре Фельдмана, в гостинице «Лондонская» – с полотен льется белый цвет: в белом



Ефим Ладыженский признался как-то дочке, что «жил хорошо, пока не понял: жизнь кончается». Эта мысль о тленности мира, тоска по бессмертию стали тогда лейтмотивом двух циклов работ – «Одесса – город моего детства» и «Бабель – «Конармия»



Работы Ефима Ладыженского



мужчины и женщины, белые скатерти, в белых куртках официанты, на тротуаре пассажиров поджидают пролетки, запряженные белыми лошадьми, – прямо как в кино или во сне! Да это и есть сон, окрашенный памятью о лучшем времени жизни, когда мама и папа были молодыми, деревья были большими, а женщины – красивыми. Вот и я вспоминаю папины белые чесучовые брюки, белую «бобочку», белые парусиновые туфли, которые были так далеко внизу, когда он поднимал меня «аж до неба». Люди в белых одеждах толпятся на палубе парохода и на причале, пьют сельтерскую воду в кондитерской («У Соловья»), болеют на футбольном матче («Корнер»), гуляют («В парке трезвости», «Памятник Воронцову», «На Соборной площади»). Сквер на Соборной площади не единожды озарял радостью мое детство (сегодня здесь, в знаменитой 121-й школе, учится мой внук), там были дальние аллеи, фонтан, горка, заборчик, по которому я отважно ступала, держась за папину руку, там гремела легендарная «фанатка», там можно было покататься на пони, запряженном в коляску с кожаными сидениями, на которых так нелегко было удержаться, чтобы не соскользнуть в моем нарядном крепдешиновом платье! Там было много соблазнов и развлечений, и венцом всему – о счастье! – мраморный столик, за которым я смаковала пощипывающую газировку с сиропом и мороженое в серебряной вазочке.

Что до белого цвета, которого так много в картинах, то художник писал так: «Белая краска в моих холстах, превратившаяся в цвет и тон, взявшая на себя большую пластическую и эмоциональную нагрузку, ставшая значительным компонентом моих картин, родилась, возможно, от белой цветущей акации и от свечек каштанов, и от белых брюк, матерчатых туфель, вылизанных зубным порошком, и рубашек-теннисок».

«В южных городах люди не стесняются улицы, как это бывает на севере. Поэтому на юге улицы простодушнее и лиричнее. Там они легко делаются ареной для проявления человеческой доброты, шутовности и любопытства».

К. Паустовский

Мое детство прошло в рабочем районе Пересыпи с приземистыми одно-, двухэтажными домами, внутренними дворами,

крытыми галереями и квартирами «без претензий». С улицы во двор входили через тяжелые никогда не запирающиеся деревянные ворота (этой осенью я не смогла проникнуть в свой двор – металлические ворота были на запоре под кодовым замком). Двор, заасфальтированный в центре и поросший травой в закутках, с импрессионистическими тенями на облупившихся стенах пестрел многочисленными пристройками, выкрашенными бесмертной зеленой краской. О, сколько важных событий происходило там, и сколько жизненных тайн и ужасных откровений я там узнала! Чуть ли не ежедневно в нашем дворе разыгрывались «драмы на море» – ссоры, скандалы, драки, а еще свадьбы, проводы в армию, похороны, поминки. Мы, дети, обожали подобные спектакли. В картинах Е. Л. широко представлен «неореализм» одесских дворов – «Йоськины голуби», «Горячая пшенка», «Манька-рыбачка», «Под утро во дворе», «Большая стирка», «Заезжий двор», «На Базарной площади», «На живодерню», «Переезд на новую квартиру», «Мадам Миркис купила пианино» и др. В них часто изображены битюги с телегами, а ведь мой еврейский дед – выдающегося роста и силы человек – был биндюжником и сам занимался извозом; хорошо мне знакомы и развешанные по двору веревки с простынями, кран в центре двора, лоханки, ведра («Здрасьте вам через окно, где вы сохнете белье?»); помню и ходивших по дворам ремесленников-кустарей – точильщиков, стекольщиков, паяльщиков («Па-а-ять! По-чи-нять! Ведра, кастрюли, чайники!»), молочниц, разливавших молоко в пол-литровые стеклянные банки («Мо-ло-ко!»), городских сумасшедших (Мишка на станках), будки для отлова собак, появившиеся на улице и нагонявшие ужас. Ах, как мы отчаянно кричали: «Будка! Будка!» – пытаясь спасти дворняжек от проволочной петли живодеров...

«Улица моего детства» с выпуклой брусчатой мостовой окаймлена невысокими домиками с лавками и мастерскими на первом этаже, где Векслер торгует бакалеей, Коган – рыбой и селедкой, Кац – мукой и крупой, Коротянский печет хлеб, Осипович фотографирует, а Сара держит чайхану. Этих сюжетов я уже не знала, так как жила в Одессе на целую жизнь позже Ладыженского. Однако из рассказов родителей, из устоев одесского быта и языка, из литературы и еще бог знает откуда все они мне близки и зна-

комы, это то, что передается из поколения в поколение и, возможно, называется неотторжимостью.

Картина «Три кустаря-одиночки на один патент» живописует блеск и нищету нэпа! У нас дома была ножная швейная машинка «Зингер», такая же, как на картине, на ней мама по мелочевке шила соседкам, пока они на нее не донесли в ОБХСС. Тогда маме пришлось брать «патент»! Помню, я любила сидеть на корточках на прямоугольной педали машинки и раскачиваться – какая же маленькая я тогда была!

Еще один «сборник воспоминаний» – «Толчок», «Уцененные товары», «Очереди», «За остродефицитными товарами» – они воскрешают в памяти неотъемлемую часть советского быта, в котором прошла половина моей жизни. Снующие толпы людей, грузчики, телеги, кони, вывески, разнообразные предметы – великолепный мир вещей прошлого. На толчок мы с мамой всегда ехали как на праздник и могли часами ходить вдоль рядов (а вдруг из пепла нам блеснет алмаз?). Денег у мамы, говоря обтекаемо, всегда было недостаточно, зато она всегда умела в барахольных развалах найти что-то такое эдакое, замечательное, предназначенное только для нас.

В моем восхитительном бедном детстве были убогие условия быта, тотальный дефицит, тоскливые заводские гудки и дребезжащие звонки трамваев, но счастье бытия от этого не уменьшалось! То же мы видим на картинах Ладыженского: они по большей части счастливые, оптимистичные, добрые, как и положено воспоминаниям. Хор пионеров самозабвенно поет «Мы кузницы, и дух наш молод», школьники репетируют гимнастические упражнения, обязательно заканчивающиеся построением «пирамиды», на первомайских демонстрациях и в парках культуры бурлят толпы народа... Отдых трудящихся в советские времена был прост, как труба горниста, существенное разнообразие вносили маевки, на которых население коллективно предавалось гастрономическим, алкогольным и прочим удовольствиям: «Маевка ф-ки им. Розы Люксембург» – мужчины в плавках и женщины в купальниках танцуют парами, прижавшись друг к другу, под оркестр. Одесские маевки незабываемы: море, скалы, весенняя едва пробившаяся листва, белое цветение садов, тонкий аромат

сирени, хрупкие, еще зеленоватые свечи каштанов и дразнящий запах местных деликатесов, распространяющийся по приморским склонам... Май в Одессе – это лучшее время года, это кипение чувств, событий, эмоций. Май в Одессе – это лучшее время жизни, окрашенное романтическими воспоминаниями...

Неиссякаемому творческому началу, живущему в одесситах, их тяге к зрелищам посвящено немало холстов: «Городские меломаны», «Боря вундеркинд», «Концерт Шуберта», «Браво-брависимо», «У нас снимается кино», «В театр на спектакль», «Цирк», «Смертельный номер», «Я Сема Алебастр – веселый куплетист», «Музей на Пушкинской», «Студия Бершадского», «Танц-класс г-на Зингера» («Два шага налево, два шага направо...»), «Школа Столярского» – помните, Бабель писал про *«...фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых тувельках... кому предстояло играть в Букинзэмском дворце»*.

Профессионально образованный и искушенный в мастерстве художник нашел для своей «Одессы» особый стилистический язык и символический ракурс (сбоку и сверху): он упразднил перспективу, разгладил пространство, расцветил его множеством деталей и трогательных подробностей, а также застывшими фигурами в динамичных позах, так он преобразил город своего детства в удивительную театральную декорацию, где все немного понарошку! Для воплощения живой истории Одессы Е. Л. отказался от однозначного правдоподобия и чрезмерной серьезности. К тому же, странный ракурс и условное пространство позволили ему, советскому художнику, не отступая от реализма, никак не соответствовать официозу соцреализма. Что это? Эзопов язык? Возможно! А возможно – проявление свободного и раскрепощенного воображения, юмор, ирония, пересмешничество. Все картины ясны, искренни и понятны, в них нет иносказаний, ассоциаций, каких-либо метафор, их примитивизм и детскость подчеркивают ностальгию художника по прошлому. Искусно написанные в наивной манере, они не вполне реальны, но и не вполне фантастичны, это какой-то особый призрачный реализм, реализм уходящей природы (что пройдет, то будет мило!).

Мир Ладыженского очень красив: светлые прозрачные тона летней толпы, серый тон бульжной мостовой, густая зелень деревьев, травы, арбузов, синева моря. Эта живопись перекликает-

ся с европейским примитивизмом, экспрессионизмом, фовизмом, которые в СССР были, по сути, запрещены, она и сегодня очень современна, свежа и талантлива.

Описывать картины – дело трудное и неблагодарное, описывать же цикл картин еще труднее, ведь каждая заслуживает внимания, и выбирая из 200 полотен, неизбежно приходится упускать что-то существенное. Поэтому позволю себе еще совсем немного о самых любимых!

Глядя на картины свадеб – «Хупа в танцклассе Зингера», «На нашей улице свадьба», «Мадам Резник выдает Фиру замуж», «Под каштанами свадьба», «Пусть будут здоровы жених и невеста», «Налетчик, его невеста и шаферы», «Фрейлехс» и др., – я медленно вспоминаю песенку, которую пела моя мама – абсолютно русская женщина по фамилии Сидорова:

Ужасно шумно в доме Шнеерзона,
Из окон прямо дым идет,
Там женят сына Соломона,
Который служит в «Капремонт».
Его невеста Сонька с финотдела
Вся разодета в пух и прах:
Фату мешковую одела
И деревяшки на ногах.

Песню сочинил в 1920 году поэт с Канатной улицы Мирон Ямпольский. А это уже «одесский Мопассан» Исаак Бабель: «На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу... Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря? Все благороднейшее из нашей контрабанды... пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря...». До чего ж я любила наши семейные застолья и их праздничную монументальность – белая нестигаемая льняная скатерть, дефицитные мельхиоровые ножи и вилки с толстенькими черненными черенками, где-то по случаю добытые мамой тарелочки с подозрительной надписью «Общепит»

и массивные подстаканники с затейливыми буквами «МПС» в обрамлении пальм и уходящих вдаль железнодорожных составов. Именины сердца!

А вот «Налетчики едут крутить любовь» – по булыжной мостовой мчат запряженные белыми лошадьми лаковые пролетки, в них джентльмены удачи – все в белых костюмах и с букетами цветов, а на белых постелях в ожидании возлежат их обнаженные пассии.

«Три тысячи бандитов с Молдаванки во главе с Мишкой Япончиком грабили лениво, вразвалку, неохотно. Бандиты были пресыщены прошлыми баснословными грабежами. Им хотелось отдохнуть от своего хлопотливого дела. Они больше острили, чем грабили, кутили по ресторанам, пели...»

К. Паустовский

Торговля, которая, как известно, «делает с нас артистов», обильно представлена во множестве картин – «Пошли дыни», «Спелые кавуны», «Бессарабское вино», «Керченская сельдь», «Очаковская скумбрия», «Утром будут торговать кавунами», «Кавуны на вырез», «Привоз» (ах, какие названия! не названия, а песня!). Привоз – место, где во все времена процветало продуктивное изобилие, где роскошь снеди и пиршество красок складывалось в сочные, вполне себе фламандские натюрморты, и где было много «южных евреев, jovиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино» (И. Бабель). Привоз – вечный зов, основной инстинкт, кровь и плоть одесситов. В детстве поездка с мамой на Привоз воспринималась мной как праздник, ведь там «пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам» (И. Бабель). Кажется, я до сих пор помню вкус моченого яблока, сладкой чурчхелы, терпкого королька, горячего пирожка с повидлом и липкость облизываемых пальцев.

Отец нашего художника был мастером по засолке рыбы, в мемуарах он пишет, что из всех засаливаемых рыб больше всего он запомнил скумбрию:

«...благородная и дорогая рыба скумбрия, царица Черного моря. Ее тугое тело, прямое и гладкое, как веретено, окрашено нежнейшими муаровыми тонами, от светло-голубого до темно-синего».

В. Катаев

Мой русский дед имел шаланду и выходил на ней в море, и я до сих пор помню вкус его малосоленной скумбрии вприкуску с искристыми «степовыми» помидорами – божественно!

У Е. Л. есть печальные картины, написанные темными тонами, на сюжеты Гражданской войны, интервенции, голода, смерти, похорон. Сегодня о них говорить мне не хочется, разве что об одной – «Похороны Веры Холодной». Траурная процессия – белые лошади, запряженные в катафалк под белым покрывалом, и 25-летняя покойница в открытом гробу в сопровождении огромной толпы и душераздирающе-надрывных звуков духового оркестра – восторг и ужас! О знаменитой артистке я знала из рассказов маминной тетки, покинувшей в ранней юности отчий дом, для того чтобы примкнуть к свите звезды немого кино, которой выпала доля олицетворять идеал женщины смутного времени 1910-х годов и вызывать преклонение публики. Ее имя будоражило мое детское воображение. (Ве-Ра-Хо-Лод-На-Я – таинственно и непонятно. Как это – Холодная Вера?) Кончина актрисы была внезапной. Это случилось в Одессе в феврале 1919 года в годы интервенции, когда Одесса жила особенной лихорадочной жизнью, а по всей Европе бушевала эпидемия испанки. Жестящик Шпиц, мастер с эстетической жилкой, каких в Одессе было немало, смастерил для Веры сказочный «серебряный» гроб – настоящее произведение искусства. В 1941 году мастера и двух его сыновей повесили на балконе над их мастерской. Картина «Г-н Шпиц и его сыновья» и много других посвящены людям уважаемых профессий – «Мой дядя Шалом», «Кровельщики», «Часовщик Коган», «Цирюльник Кольтмахтер», «Мастерская памятников», «Реставрация Успенского собора»...

Е. Л. писал: «Были люди, и их я носил в своей душе, их помнил и ощущал...». Доброе старое время детства и юности художник помнит всеми органами чувств, его многолюдные и многоголовые, набитые людьми и предметами городские пейзажи написаны не только с большим мастерством, но и с душевным жаром, удовольствием и любовью, они дают живое ощущение давнего одесского микромира с его воздухом, настроением, неповторимым колоритом и немеркнувшей притягательностью.

После городских пейзажей наиболее частая тема, к которой обращается живописец, – море: «Утром на Ланжероне», «Весна

на даче Отрада», «Лодочная станция совслужащих», «В Арбузной гавани», «Каникулы еще продолжаются», «Катер лоцмана», «Крымско-кавказская линия», «В дальний рейс» и т. п. Он не пишет бескрайних морских просторов, он выбирает нужный ему кадр, передающий колорит места и времени – пляж, порт, гавань, лодки, подъемные краны, буксиры, большие пароходы, мачты...

О, море, море! Как много оно значило для меня! С раннего детства я ходила с папой в порт и в ближние Хлебную и Нефтяную гавани. Я любила стоять на пирсе и смотреть на отходящие пароходы.

«...на том месте, где только что чернела стена парохода, образовалась щель, и в глубине – зеленая рябь морской воды».

В. Катаев

«Что там?» – спрашивала я, всматриваясь в море, и папа торжественно отвечал: «Там Турция!». В нашу гавань заходили корабли из далеких стран, они стояли на рейде, будоражили воображение, рождали мечты о путешествиях и приключениях...

«Пароходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца жаждой прекрасных и новых земель...»

И. Бабель

Живописная сага о городе в 190 глав – уникальное и единственное в своем роде эпическое и лирическое повествование об Одессе в цвете и линии – главное творческое свершение выдающегося художника XX века, чье имя навсегда уже вписано в летопись искусства.

«Одесса моего детства» Ладыженского – живое художественное явление, сравнимое с Парижем Альбера Марке или Монмартром Мориса Утрилло. Но, пожалуй, подлинное открытие художника в его родном городе еще впереди. И очень может быть, в скором времени на Ланжероновской улице, на Аллее звезд, появится его звезда!

Тель-Авив

